

Свою книгу «Крамской» из серии ЖЗЛ московский писатель Николай Карташов недавно презентовал в Острогожске. Предлагаем читателям главы, касающиеся жизни художника на воронежской земле.

«ТАМ, ГДЕ ВОЛНЫ ОСТРОГОЩИ...»

Уездный городок Острогожск, в прошлом пограничный город-крепость Белгородской засечной черты, находился далеко от столиц. Как, впрочем, и неблизко от губернского Воронежа. В тридцатых годах XIX века он мало чем отличался от тогдашних южных российских городов. Такие же белые хаты-мазанки, крытые камышом; плетни, огороды, гумна... Были в нем, конечно, и каменные дома под железными крышами. Да и заборы с коваными воротами смотрелись ничуть не хуже московских или петербургских. Однако малороссийская архитектура все же больше главенствовала в этом степном городке.

В Острогожске насчитывалось чуть больше десяти тысяч жителей, одну половину из них составляли русские, а вторую — малороссы. Город утопал в яблонево-вишневых и грушевых садах. Много было в нем и церквей.

Но что примечательно: в сравнении с другими уездными городами, коих тогда было немало, Острогожск жил более насыщенной хозяйственной, духовной и общественной жизнью. Неслучайно в губернии его возвышенно величали «Воронежскими Афинами».

Александр Никитенко, знаменитый в будущем цензор, литератор и друг самого Пушкина, а тогда четырнадцатилетний школяр местного уездного училища записал в дневнике: «Замечательный город был в то время Острогожск. На расстоянии многих верст от столицы, в степной глуши, он проявлял жизненную деятельность, какой тщетно было бы тогда искать в гораздо более обширных и лучше расположенных центрах Российской империи».

Острогожск считался зажиточным городом. Чего только не делали острогожцы! Они производили кирпич, варили мыло, топили сало, выделывали кожи, курили вино... Знаменит был город и своим главным рыбным складом, на который везли рыбу с Дона, а потом отправляли в соседние губернии. В просторечии Острогожск часто называли Рыбным.

Местное купечество воровало немалыми капиталами. Наибольший доход приносили лавки с красными и панскими товарами (сукно, ситец, шелк, пушнина); лавки с чаем, сахаром, бакалеей и рыбными товарами; лавки с черным товаром (деготь, соль, медь, свечи); скобяные и мясные лавки; лавки с табаком, мукой, мылом, гончарной и хрустальной посудой и юфтевым товаром. Внутренний городской оборот по всем отраслям торговли (лавочной и магазинной) в год достигал 262 тысяч рублей серебром.

Но не хлебом единым жили острогожцы. В библиотеках дворян, купцов и офицеров местного гарнизона в массивных «шкапах» хранились сочинения Вольтера, Дидро, «Персидские письма» и «Дух законов» Монтескье, «О преступлениях и наказании» Беккариа. В «шкапах» этих были комплекты «Московских ведомостей», «Сына Отечества», «Русского инвалида». В местных гостиных предпочтение отдавали не свежим сплетням, а последним политическим, военным и литературным новостям.

Среди острогожских обитателей выделялись фамилии дворян Томилиных, Веневитиновых, Рахминых, Тевяшовых, Сафоновых, Станкевичей, Астафьевых, купцов Должикова и Панова... Они не только радели о пользе своего сословия, но отличались благородной общественной деятельностью, просвещенными и гуманными идеями.

Уроженец Острогожска, глава знаменитого московского литературно-философского кружка Николай Станкевич 7 января 1836 года сообщал своему другу Михаилу Бакунину: «Не имейте дурного понятия об Острогожске — здесь чувства и дела, и мнения совсем не те, что в Миргороде. Правда, у нас есть Иваны Ивановичи и Иваны Никифоровичи, зато они засмеют в глаза всякого, кто скажет им, что турецкий султан заставляет нас принять свою веру, что доказывает их сведения в современной политике и здравый ум. Они ссорятся, но не тягаются — что доказывает их доброе сердце. Они не лежат под навесом, а пускаются в коммерческие обороты, курят вино и ставят свиней на барду, что доказывает их способность к практической деятельности...»

Огромную роль в жизни города играло духовенство. По словам одного из современников, оно, поистине, стояло на высоте своего призвания. В Острогожске насчитывалось восемь каменных церквей. Например, Троицкая соборная церковь, купола которой были видны во все стороны на десятки верст, выделялась замечательной архитектурой и славилась хорошими образцами работ известных художников. Говорили, что сам Боровиковский по молодости распisyвал здешние храмы. Правда, не уточняли, какой Боровиковский: старший Лука или сын его Владимир, впоследствии известный русский живописец. А в такой же красивой Покровской церкви звонили колокола, подаренные Петром I. Государь посетил город незадолго до Полтавской битвы. Здесь же произошла его встреча с гетманом Украины Мазепой.

Жизнь в Острогожске еще больше оживилась, когда в нем стала квартировать 1-я драгунская дивизия. Драгуны прибыли в город прямо из Европы, где участвовали в разгроме остатков наполеоновской армии. Правда, напоить своих коней в Сене и пройти на рысях в парадных колоннах победителей по парижским улицам им не до-



Скульптура Николая Крамского

велось. Капитуляция французов застала их в немецком Дрездене. Там и отметили они с подобающим русским размахом победу, а оттуда путь дивизии пролегал обратно в Россию.

Упомянутый нами Никитенко рассказывал: «Квартировать в Острогжске и его окрестностях была назначена первая драгунская дивизия, состоявшая из четырех полков: Московского со штабом, Рижского, Новороссийского и Кинбурнского, прибывшего несколько позже. С водворением их у нас наш скромный уголок преобразился. В нем закипела новая жизнь, и пробудились новые интересы. Офицеры этих полков, особенно Московского, где в штабе был сосредоточен цвет полкового общества, представляли из себя группу людей, в своем роде замечательных. Участники в мировых событиях, деятели не в сфере бесплодных умствований, а в пределах строгого, реального долга, они приобрели особенную стойкость характера и определенность во взглядах и стремлениях, чем составляли резкий контраст с передовыми людьми нашего захолустья, которые за недостатком живого, отрез-

вляющего дела витали в мире мечтаний и тратили силы в мелочном, бесплодном протесте. С другой стороны, сближение с западно-европейской цивилизацией, личное знакомство с более счастливым общественным строем, выработанным мыслителями конца прошлого века, наконец, борьба за великие принципы свободы и отечества — все это наложило на них печать глубокой гуманности, и в этом они уже вполне сходились с представителями нашей местной интеллигенции. Немудрено, если между ними и ею завязалось непрерывное общение».

К цветущему полковому обществу принадлежал и будущий декабрист, замечательный русский поэт Кондратий Рылеев. В ту пору он служил прапорщиком в конноартиллерийской батарее. И ему запал в сердце городок на берегу Тихой Сосны:

Там, где волны Острогощи
В Сосну Тихую влились,
Где дубров тенистых рощи
Над потоком разрослись...
Где в лугах необозримых
При журчании волны
Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны;
Где в стране благословенной
Потонул в глуши садов
Городок уединенный
Острогжских казаков...

В этом «замечательном городе» и там, где «волны Острогощи в Сосну Тихую влились», 27 мая 1837 года родился великий русский художник Иван Николаевич Крамской.

В своей автобиографии Крамской позже заведет следующий текст: «Я родился в 1837 году, 27 мая (по старому стилю. — *Н.К.*), в уездном городке Острогжске, Воронежской губ., в пригородной слободе Новой Сотне, от родителей, приписанных к местному мещанству». В тексте другой автобиографии прибавил: «Крещен же 29 мая во имя Иоанна Блаженного, стало быть, через день».

«12-ти лет от роду, — продолжает дальше Крамской, — я лишился своего отца, человека очень сурового, сколько помню. Отец мой служил в городской думе, если не ошибаюсь, журналистом (писарем. — *Н.К.*); дед же мой, по рассказам, был тоже как-им-то писарем в Украине. Дальше генеалогия моя не подымается. Как видите, она столь же древняя, как и любая дворянская».

Действительно, происхождения Ваня был совсем не знатного. Дед его принадлежал к числу так называемых войсковых жителей, то есть не принадлежал помещику, а служил, как уже сказано, волостным писарем в Украине. Оттуда судьба его забросила в Воронежский край, где он и пустил корни.

Отец будущего художника, Николай Матвеевич, пошел по стопам Крамского-старшего, с молодых лет и до самой смерти служил письмоводителем в Острогжской городской думе. Николай Матвеевич был человеком крутого нрава, вдобавок любил хорошо выпить. Но при всем этом отец был главным кормильцем семьи: ежемесячно получал десять рублей серебром жалованья, а к ним добавлялись еще 60-70 рублей от записей в гильдию. По тем временам — это были деньги большие.

Мать Крамского, Настасья Ивановна, в девичестве Бреусова, принадлежала к старинному казачьему роду. По характеру это была строгая и трудолюбивая женщина. Из детства Ивану в сердце запала такая картина. Утро. Отец собирается на службу. Он, как всегда, чем-то недоволен, ворчит на мать. А та, проглатывая обидные слова и горькие слезы, молча хлопчет у печки. По словам Крамского, мать была выдана замуж за отца насильно, «она его не любила».

В 1859 году Крамской, будучи учеником Академии художеств, написал портрет матери. В этой, по сути, юношеской работе он постарался передать облик женщины, еще не старой, немного суровой, с пронзительным взглядом. Позже Крамской рассказывал о встрече с матерью: «Господи, какая она старенькая и все такая же добрая... Ей шестьдесят пять лет. Глаза, лоб и нос еще точь-в-точь как на моем портрете...» И дальше: «уж очень простая, до того проста!..»

В семье Крамских было трое сыновей. Старший сын Михаил, по примеру отца, до конца дней своих оставался в должности письмоводителя. Второй сын, Федор, работал учителем словесности в подготовительных классах Острогжского уездного училища, где и сам получил образование. Иван был младшим из трех братьев. В своей автобиографии он упоминает еще о двух сестрах, рано умерших.

Небольшая хатка-мазанка Крамских, в три окошка, под камышовой крышей, стояла у самого майдана (площади. — *Н.К.*) на высоком берегу Тихой Сосны. Она сохранилась и по сей день, несмотря на полыхавшие в тутошних местах костры восстаний и кровавые войны. Здесь, в мазанке, в ее тесных выбеленных комнатках, у печки с чугунами и рогачами, столом под образами в парадном углу, чистыми рушниками на лавках; в огороде с подсолнухами, саду, огороженном плетнем, словно оживают страницы жизни будущего художника.

«Первое впечатление, — рассказывает Крамской об эпизодах своего детства, — следующее: я сижу у кого-то на руках и смотрю в черную дымовую плетеную трубу четырехугольной формы, через которую видно небо. Сколько мне было лет и кто меня держал — не помню; держала, должно быть, мать, а лета... я еще не ходил. Это, значит, мое первое впечатление, которое я помню. Второе, тоже довольно раннее, было следующее: я вместе с матерью и некоторыми родственниками еду откуда-то на санях очень низких (дровнях) и вижу с поразительной ясностью стволы тонких берез, обледенелый снег, замерзшие лужицы, в которых лед отливает перламутром, а от вечер-

через солнца длинные тени; путь лежал через так называемую левалу. Это впечатление сопровождалось (помню очень хорошо) грустным и тоскливым чувством, хотя и приятным. Затем рядом возникает в памяти летнее утро, теплое, светлое, солнечное, росистое и пахучее, я иду с блинами (помню хорошо, что куда-то кому-то нужно было снести завтрак), иду по саду нашему, по дорожке, и с обеих сторон трава очень свежая и пахучая, выше меня ростом. Очень весело, и я горжусь важностью данного мне поручения. Но куда я пришел, и выполнил ли данное поручение, не знаю — не помню, а как иду — помню, и как бьет мокрая трава в лицо и осыпает всего брызгами — помню тоже».

Вообще детство Вани мало чем отличалось от детства таких же, как он, слободских ребятишек. Зимой одним из главных развлечений Вани и его друзей было катание на салазках и льдинах.

«Эти льдины я умел очень хорошо обделывать, — вспоминал впоследствии Крамской. — Сверху вырубалось сидение, спереди и сзади оставлялись вершка 2 стеночки; в них посредине проделывались дырочки посредством соли: щепотки соли было достаточно, чтобы продуть дырочку; соль насыпалась, и через соломинку надо было на нее дуть: соль уходила в лед и таким образом чистая дырочка была готова; тоже и с другой стороны. Потом бралась веревка и на одном конце привязывалась коротенькая палочка поперек, свободный конец вводился через обе дырочки, палочка удерживала веревку и под веревку на сиденье клалась солома. Таким образом, можно было экипаж этот возить. Как он был быстр и легок на ходу и как удобен, особенно при езде верхом! Но при спуске с горы на нем нужно было иметь большую долю хладнокровия и уметь управлять им. Если кто не умел, льдина начинала кружиться, ездок падал в снег, а экипаж укатывал из-под него сажень на 200! Это было очень веселое время, особенно когда спускавшихся было много; Впрочем, и в одиночку тоже ничего».

Но если зимой ребячья жизнь сосредоточивалась на правом конце улицы, у горы над рекой, то летом — на левом. Дело в том, что на левом конце была огромная площадь или, как выше сказано, майдан. Вот на этой площади Ваня играл с ребятишками в мяч, в прятки, в свайку, запуская змей. Игры прекращались лишь тогда, когда в высоком южном небе зажигались звезды, а за речкой медленно поднималось ночное светило — месяц. Однако по пути домой наш герой обязательно задерживался у какой-нибудь хаты, где у плетня на бревнах или на скамейке балакали старые казаки.

— Ну, хлопец, сидай, а мы трохи поговоримо, — звал кто-то из дедов, усаживая рядом с собой Ивана.

Как любил будущий художник слушать их воспоминания о буйной казацкой вольнице, об участии острогожских казаков в боях и походах против крымских татар, турок, шведов! Наслушавшись дедовских рассказов, Ваня на следующий день приступал к своему излюбленному занятию. Напротив хаты был погреб, рядом с ним много глины. Набрав большой комок, Ваня сначала долго ее разминал, пока она не становилась мягкой и теплой, а потом начинал лепить из податливой массы фигурки казаков, лошадей... Причем юный скульптор старался сделать их в движении. И это у него славно получалось: лошади, скачущие наметом, а на них всадники, пригнув головы к самым шеям лошадей, с острыми пиками наперевес. Настоящая казачья атака.

Работа с глиной доставляло маленькому Крамскому большую радость. Но он еще не понимал, что именно с этих глиняных фигурок начинался его путь в прекрасное. В тот огромный и неповторимый мир, который называется искусством.

Еще одним увлечением нашего героя была музыка. Со стороны двора Крамских стоял дом, в котором жили соседи, братья Крупченко. Оттуда часто было слышно хоровое пение, доносились звуки скрипки, особенно флейты. Это играл на инструменте один из братьев.

«Как это было хорошо! — вспоминал впоследствии Крамской. — Никогда лучшего артиста я потом не слышал, и никогда такого восторга, спирающего дыхание, в

моей жизни в такой мере не повторялось. На утро я, бывало, забирался в свой сад, где была одна большая, густая и старая вишня, с раздвоившимся стволом, взбираюсь поближе к верхушке, саживаюсь, и на гребенке, переложенной по зубцам бумагою, начинаю играть: звуки выходили очень похожие на флейту, по-моему. Случалось, что я довольно долго доставлял себе это удовольствие, но оно всегда кончалось тем, что мать моя съест меня, стащит оттуда и иногда чувствительным образом накажет за порчу дерева, а музыкальный инструмент спрячет так, что долго не найдешь».

Уже тогда у этого маленького, худенького мальчика с умными, серыми глазами зародилась в душе любовь к музыке, которую он сохранил и в зрелом возрасте.

В это же время, как писала в 1891 году одна из первых биографов Крамского Анна Ивановна Цомакион, у мальчика «обнаружились и зачатки любви к пейзажу. В те ранние детские годы поражали ребенка переливы света на деревьях, игра солнечных лучей на поверхности замерзших лужиц, длинные тени, ложившиеся на дорогу от тонких стволов берез, легкая рябь, пробегавшая по поверхности его любимой речки от внезапно подувшего ветерка».

В биографии Крамского, напечатанной в 1880 году петербургским еженедельным иллюстрированным журналом «Живописное обозрение», приводятся несколько подробностей из молодых лет жизни Крамского.

«Мальчик очень рано полюбил природу, — пишет автор, — именно с ее, так сказать, художественной стороны; речки, левады, рощи, переливы света, — все это охватывало ребенка каким-то непонятным ему восторгом. Пробуждался, если можно так выразиться, поэтический лиризм... Немало также интересовала его живопись кладбищенской церкви в Острогжске, еще екатерининского времени. Картины эти принадлежали какому-то, ныне совершенно забытому художнику Величковскому. Эти художественные произведения прошлого века — не Бог весть что, но и не суздальщина».

Однако сам Крамской в своей автобиографии не указывает, когда именно возникло у него желание заняться рисованием. «Помню только, — вспоминал Крамской, — что 7-ми лет я лепил из глины казаков, а потом — по выходе из училища, рисовал все, что мне попадалось».

Также в семилетнем возрасте будущий художник начал учиться грамоте. Первые уроки по методу *аз, буки, веди* ему преподавал один из братьев-музыкантов Крупченко. Он же научил маленького Ваню читать псалтырь и часослов.

Кроме того, ему мальчик обязан и за арифметическую науку. Позже Крамской вспоминал, что из цифр ему больше всего нравилось писать четверку. За эту цифру он даже получил увесистого леща от родителя. Дело было так. Перед новогодними праздниками мать побелила печку. «Чем не полотно?» — рассудил будущий живописец и старательно вывел угольком на белоснежной печной стене год 1844, за что и был наказан отцом.

Когда Ване исполнилось десять лет, родители отдали его в Острогжское уездное училище. Учебное заведение имело нижнее (подготовительное) отделение, первый, второй и третий классы. По количеству учеников оно среди других уездных училищ было средним: в нем обучалось тогда около ста человек. Училище располагало собственной библиотекой, в которой насчитывалось порядка тысячи книг, строго учтенных и записанных в «особую шнурозапечатанную книгу». Имелась в училище и книжная лавка, где можно было купить книги, учебники.

Курс наук насчитывал чуть больше десяти дисциплин и основывался в первую очередь на чтении Священного Писания и на различных правилах — слога, чистописания, правописания. Кроме того, в училище преподавались география, краткая всеобщая история, грамматика, арифметика, латинский и немецкий языки, рисование и черчение.

Учеба Ване давалась легко. Закон Божий, математику, грамматику, иностранные языки, другие предметы он осваивал быстрее и лучше своих сверстников.

Что касается рисования, то большого интереса, как ни странно, наш герой к этому предмету почему-то не проявлял, хотя и имел по нему отличные оценки. Первый оригинал, который ему дал учитель рисовать в первом классе, был профиль лица без затылка, с чубом на лбу. Рисунок был напечатан на бумаге в клетку штрихами. Весь год Крамской рисовал этот рисунок, но так и не закончил.

Во втором классе уроки рисования ему показались еще более скучными. Из-за этого он никак не мог перерисовать с литографии икону Святого Семейства, на которой были изображены Дева Мария, ее муж Иосиф Обручник и младенец Иисус. Тушевка была мелкая и очень точная. Учитель рисования, добрый старичок, обозвал Крамского «лентяем, зарывающим свой талант в землю». Что значило «зарывать талант», Ваня тогда так и не понял. Зато учитель, произнося эту фразу, похоже, заметил в своем ученике талант.

Между тем во время учебы Крамской по праву занял в училище место первого ученика. В доме-музее его имени хранится список учеников второго класса Острогжского училища, которые после экзаменационных испытаний переводились в третий класс. Напротив фамилии Крамского стоят отличные оценки по всем предметам. Высший балл ему выставлен и за поведение. В последней графе этого списка рукой одного из его наставников сделано заключение: «Переводится в 3-й класс с наградой».

Первым учеником Иван и закончил уездное училище, о чем свидетельствовал выданный ему аттестат с отличием. Спустя годы, став зрелым человеком, Крамской так рассказал об этом периоде своей жизни: «Помню живо то страшное время, когда выходишь на экзамен — кровь в виски стучит, руки дрожат, язык не слушается, и то, что хорошо знаешь, — точно не знаешь, а тут очки, строгие лица учителей... Помню, как, бывало, у меня кулачки сжимались от самолюбия, и я твердо решался выдержать и не осрамиться».

Как писала Цомакион, из этого маленького школьника со сжимавшимися под влиянием внутреннего решения кулачками уже складывался человек, всю жизнь свою твердивший себе и другим: «Вперед, без оглядки, — были люди, которым было еще труднее!»

Иван еще ходил в училище, когда их семью постигло горе: умер отец. Потеря близкого человека отразилась, прежде всего, на семейном бюджете. Для того чтобы учиться дальше в гимназии, которая находилась в Воронеже, требовались деньги. А их в семье не было. Да к тому же Ваня, как считала мать, был еще очень мал. На фоне сверстников он выглядел щупленьким и меньше их возрастом. Тогда и было принято решение оставить Ваню в училище еще на один год. Скорее всего, оно принималось не без участия старшего брата Федора, который, как известно, работал учителем в училище. Он же помог оставить младшего брата в училище старшим учеником — в то время подобные вещи допускались.

Так Иван остался в училище еще на год. Как старший ученик, он помогал учителю поддерживать порядок в классе, иногда и сам проводил уроки. Через год ему выдали тот же аттестат, только переписали дату.

Однако определенности, чем же он должен дальше заниматься, по-прежнему не было. На учебу в гимназию не было средств, а его занятие рисованием в семье всерьез никто не воспринимал. На очередном семейном совете было принято решение определить Ивана на службу в качестве писца в Острогжскую городскую думу.

Надо сказать, писарь из него получился первостатейный. Мальчик старательно переписывал протоколы, ведомости, списки и другие казенные бумаги. Каллиграфия у нашего героя также была отменная. Начальник канцелярии, Аким Петрович, был доволен новым писарем, даже поручал ему делать рисунки модных воротничков для своих дочерей. Ваня и с этим заданием успешно справлялся.

А в свободное от канцелярской службы время он продолжал с увлечением зани-

матерь рисованием. Иван уже сам чувствовал, что послушнее, чем раньше, становится карандаш, что наиболее хорошо ему удаются пейзажи, портреты людей.

К этому периоду относится его знакомство с Михаилом Борисовичем Тулиновым, местным любителем живописи и фотографом-самоучкой. Старший брат Ивана Федор как-то встретил на улице Тулинова и попросил заглянуть к ним в гости, а заодно посмотреть, как рисует его брат.

Тулинов был удивительно добрым, отзывчивым, дружелюбным человеком и никогда не отказывал ни в совете, ни в помощи. Он откликнулся на просьбу и встретился с будущим художником. Вот как Тулинов сам описывает их первую встречу: «Вхожу. Вижу маленького, худенького, серьезного мальчика, и с ним два других мальчика. Это были: Ваня Крамской и его товарищи, Гриша Турбин (впоследствии ретушер у одного фотографа в Харькове) и Петя Бравый (впоследствии живописец в Острогжске). Ваня до того был застенчив, что если бы не товарищи его, то он и в этот раз вряд ли показал бы мне свои рисунки. Но вот, мало-помалу, мы разговорились, пересмотрели его рисунки...»

Примечательно, Тулинов был первым из посторонних взрослых людей, кто посмотрел рисунки Ивана. Они ему понравились. Прощаясь, Тулинов спросил, почему Ваня только карандашом рисует.

— А у меня, кроме туши и французского карандаша, нет ничего. Ни красок, ни кисточек нет, — с грустью ответил Иван.

— Этому горю можно пособить, — сказал Тулинов. — Завтра жду тебя у себя дома. У меня есть хорошие краски Аккермана, а также кисти. С удовольствием с тобой поделюсь.

На следующий день будущий художник получил от Тулинова в подарок заветные кисти и краски. В дальнейшем Тулинов, несмотря на четырнадцатилетнюю разницу в возрасте, стал для Крамского добрым наставником, которому тот поверял свои мысли, делился идеями, брал из его библиотеки книги. «Мы сошлись, как ровесники, — вспоминал впоследствии Тулинов, — почему? Я страстно любил живопись и рисовал самоучкой акварелью, а он получил в городском училище страсть к рисованию, работал дома карандашом и тушью».

Встреча с Тулиновым еще больше укрепила в мальчике стремление быть художником, и он все чаще стал просить мать и братьев отдать его в ученики к какому-нибудь живописцу. «Милая живопись! — записал юноша в дневнике. — Я умру, если не постигну тебя, хоть столько, сколько доступно моим способностям».

— Що ж ты довбаєшь и довбаєшь мэне, як дятел дуб, — сердилась мать. — Чи иншого заняття немає. Хиба тобі погано бути писарем?! Заладил — художник, художник... А ты знаєшь, що вси художники — п'яниці и жебраки (нищие. — *Н.К.*)! Хочеш бути таким босяком, як Агеевич!

Петр Агеевич был местный живописец. Ваня часто видел его на базаре. Вид у Агеевича действительно был затрапезный. Ходил он в изношенных сапогах с отрезанными по щиколотку голенищами и в старом засаленном халате. От него всегда пахло какой-то кислой закуской и перегаром. Но рисовальщиком Агеевич был от Бога. Все признавали его талант. Однако все, что зарабатывал кистью, художник тратил на выпивку. Разумеется, Настасья Ивановна не желала своему сыну такой доли.

Но Ваню не так просто было убедить. Он ершился, не соглашался с тем, что ему говорили близкие.

— А вот в Петербурге есть живописец Карл Брюллов. Он имеет большое состояние и живет во дворце, — заявлял в ответ Ваня.

Причем заявлял твердо и с гордостью, словно тот ему приходился родным братом или дядей. К тому времени Ваня успел начитать литературы о Брюллове, слава которого уже гремела по всей России. Но мальчика и слушать не хотели. Для семьи Крамского имя Брюллова было не более чем пустым звуком.

— Вин тоби сам розповидав? Бреше, пиды, — возразила мать. — Ти мэни його покажи, я його видучу хлопчикам голови заговорюваты!

В Острогжске, кроме Петра Агеевича, конечно, были и другие художники. Не пьяницы. Но в учениках они не нуждались. Мать Крамского, хотя и была женщиной неграмотной, понимала, что у сына есть дар, какого нет у других его сверстников. О мальчишке Ване, умеющем «гарно малювать», хорошо знали и в слободе.

— Хлопчику трэба учиться, — говорили матери люди.

И при этом добавляли:

— Нехай вин и дя мэне малюнок зробит...

Вскоре мать прослышала, что в Воронеже есть иконописец по фамилии Бобров, которому срочно требуется подмастерье. На семейном совете было решено отдать Ивана именно к этому богомазу. Для четырнадцатилетнего Крамского открывалась новая страница жизни.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

До Воронежа оставалось версты три — не больше. Лошади, почувствовав приближение города, ускорили шаг. Лицо матери повеселело. Да и сам Иван оживился. Несколько суток они были в пути. Добирался, как придется: где пешком, где на перекладных. Перед Воронежем подобрал ходоков добрый мужичок, ехавший на телеге порожняком за каким-то товаром в губернский город. Взял путников и даже денег не требовал.

Вдалеке взору открылось множество церковных куполов. Большие и маленькие, чем-то похожие на головки мака и лука, они далеко окрест излучали свет. Летнее солнце светило так ярко, что, казалось, улицы, дома, сады были покрашены золотой краской.

Мать Крамского, глядя на маковки церквей, истово несколько раз перекрестилась. Ваня был счастлив. Он ехал навстречу своей мечте. Возница довез Крамских прямо до дома иконописца Боброва. Но его на месте не застали. Пришлось идти в другой конец города, на кладбище, где Бобров с другими мастерами расписывал церковь. Так у будущего художника появилась новая работа. По контракту, заключенному с иконописцем, юноша должен был пробыть в учении шесть лет.

Круг обязанностей иконописец очертил Ивану сразу: растирать курантом краски, мыть кисти, подносить необходимый инвентарь, делать уборку помещения после работы, доставлять из дома обеды. Что касается обучения, то хозяин обещал давать уроки в процессе остальных дел. Но шли дни, недели, а учить отрока живописи Бобров, похоже, не собирался. Монотонная каждодневная работа не приносила Ивану никакого удовлетворения. К тому же иконописец все больше привлекал его к делам домашним.

— Ванька, беги к матушке, — озадачивал он ученика. — Да поторапливайся. На базар вместе пойдете...

Едва тот успевал справиться с заданием, как от хозяина следовала новая команда:

— Ванька, срочно отнеси отцу Филимону воск для свечей.

Как-то богомаз поручил Ивану и еще нескольким ученикам доставать тяжелые дубовые бочки для соленьев из речки, где их там держали, чтобы они не рассохлись. Бочки пришлось вытаскивать, стоя по пояс в холодной осенней воде. Это стало последней каплей, переполнившей терпение Ивана. В тот же день он написал слезное письмо матери, в котором попросил забрать его домой, потому что ему надоело быть мальчишкой на побегушках.

Мать, зная настырность и упрямство сына, который, если что-то надумал, не отступится, вскоре приехала и забрала Ивана обратно в Острогжск. Правда, без скандала не обошлось. Иконописец не хотел отпускать старательного помощника.

Возвращение Ивана в Острогожск, к сожалению, вызвало раздражение старшего брата. За самоваром, прикусывая сахарок, тот прямо заявил:

— Я, Ваня, содержать тебя больше не обязан. Пришла пора самому зарабатывать на кусок хлеба. Как ты это будешь делать? Переписывать казенные бумаги или рисовать на заборах чертей с рогами — мне без разницы...

Сказал, как отрезал. Мать в слезы. Ей, конечно, жалко было младшенького, и в душе она ему сочувствовала. А, с другой стороны, поддержала старшего — он в семье после смерти отца остался за главного.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В один из дней в Острогожске объявился заезжий фотограф из Харькова. Звали его Яков Петрович Данилевский. Прямо в центре города, рядом с городским садом, он развернул ателье. В то время постоянные фотографии были в основном в крупных городах, поскольку эта отрасль в России только начинала развиваться. Профессия фотографа считалась редкой, но уважаемой и прибыльной. А сами фотографы часто были людьми кочевыми. Переезжали из города в город со своим скарбом, а в данном случае — с заморскими фотографическими аппаратами.

Приезд Данилевского вызвал небывалый ажиотаж среди местного населения. От желающих запечатлеть свой облик не было отбоя. К тому же в Острогожске и окрестных уездах были расквартированы воинские части. К ним едва ли не каждую неделю добавлялись новые бригады и полки, направлявшиеся маршевым порядком в Крым. За пешими и конными частями нескончаемыми вереницами тянулись обозы. В воздухе уже пахло порохом: война России с Турцией была неизбежна.

Крамской записал в своем дневнике: «Полковых пропасть, и женатых, и холостых, и со всеми возможными физиономиями, и юнкера, и подпрапорщики, и прапорщики, и чего тут только нет!..» И дальше: «Сейчас только проехали солдаты для соединения с целым полком, который квартирует в нашем городе, для выезда совершенно отсюда...»

Для фотографа лучшей клиентуры, как среди солдат и офицеров, не найти. Что-то, а служивый человек любит фотографироваться! В парадном мундире. При оружии — с шашкой или винтовкой. При медалях и орденах. С этой целью и приехал в Острогожск Данилевский. Он делал и портреты, и групповые снимки.

Надо заметить, фотографический процесс в то время был не таким простым, как сейчас. К примеру, человек, который хотел иметь свое изображение, должен был минут 20 сидеть перед аппаратом и не шевелиться. А для того чтобы он не шевелился, голову сзади плотно держала железная рогатка. Много времени уходило и на изготовление самих фотографий.

С утра до вечера шли съемки. Очередь из военных и штатских не убавлялась. Выручка к предприимчивому фотографу текла быстрой рекой. Но в самый разгар работы возникли непредвиденные обстоятельства: ретушер Данилевского ушел в запой и пропал неизвестно куда. Одним словом, загулял. По выражению самого Крамского, «запил, что ворота запер». А какая фотография без ретуши! Данилевский оказался в сложнейшей ситуации. Набрав кучу заказов, он не знал, как их исполнить к сроку. Вдобавок закончился ляпис-инферnalis, а проще говоря, были израсходованы химикалии.

Данилевский был в панике. Кто-то из острогожцев подсказал ему, что в городе есть фотограф-любитель Тулинов, может быть, он выручит. Данилевский обратился к нему, но тот отказался. Однако предложил кандидатуру Ивана, которого в свое время в несколько приемов обучил («доводить акварелью и ретушью фотографические портреты»). Данилевский тут же провел экзамен. Крамской сделал несколько пробных портретов. «Оживотворяющая» доработка фотографий, сделанная им, получилась лучше, чем у харьковского ретушера. Данилевский тут же предложил Ивану работать у него.

Но теперь на пути встала мать, категорически выступив против того, чтобы ее «сын працевал (работал. — Н.К.) на жида». Надо заметить, в то время многие малороссы не жаловали евреев. Опять потребовалось вмешательство Тулинова. По такому случаю он собрал целый ареопаг в лице двух братьев Пановых и их отца. Но сколько они ни уговаривали Настасью Ивановну, она оставалась непреклонна:

— Не отпущу!

Начались новые уговоры. Ей объяснили, что Данилевский, хотя и еврей, но крещеный, и в церковь ходит, и посты соблюдает... Так что опасаться нечего. Только благодаря этим аргументам мать сдалась.

Иван был принят на службу к фотографу в качестве ретушера и акварелиста с жалованием 2 рубля 50 копеек в месяц. С этих пор, как вспоминал Тулинов, Ваня стал «Иваном Николаевичем». На тот момент нашему герою исполнилось 16 лет.

Снять портрет, говорили тогда фотографы, это лишь полдела. Его довести до ума нужно. А поскольку отпечатки из-за слабой тогдашней фототехники получались мутные, их надо было основательно ретушировать — подрисовывать, подправлять, снимать специальными растворами проявлявшиеся пятна. Наконец, «разделять» акварельными красками. И здесь многое зависело от квалификации ретушера. Хороший ретушер должен был в совершенстве владеть и карандашом, и акварельными красками, и особыми на белке, и затертыми на лаке... Таким специалистом был как раз Крамской. Неслучайно его впоследствии назовут богом ретуши. Но это будет потом, а пока Иван старательно оттачивал свое ретушерское мастерство. Данилевский был доволен новым работником.

Сколько фотографий отретушировал Крамской, мы никогда не узнаем. Но, безусловно, тысячи. Перед его глазами прошло бесконечное количество лиц — красивых и неказистых, мужественных и трусливых, сытых и голодных...

Портреты, отретушированные Крамским, висели в деревенских избах и хатах, в домах купцов и дворцах дворян. Их носили у сердца девушки и женщины, сохраняя верность своим любимым, воевавшим в Севастополе. На них молились матери, глядя на сыновей, дравшихся под Турно и Расту... Они грели души солдат, которые хранили в своих нагрудных карманах и ранцах фотографии близких и дорогих им людей.

Впрочем, не все позаметали метели времени. И сегодня можно встретить в семейных архивах и музеях эти старые пожелтевшие фотографические карточки из далекого XIX века, «разделанные» никому не известным тогда юношей из степного городка Острогжска.

Когда заказов в Острогжске стало мало, Данилевский закрыл свое предприятие и вернулся в Харьков. Ивана с собой не взял, но пообещал, что если будет работа, обязательно его «выпишет» к себе. Так оно и случилось. Через два месяца от Данилевского пришло письмо, в котором тот просил «Ивана Николаевича» приехать как можно скорее.

С грустью расставался Иван с родным городом и близкими людьми. Об этом он подробно рассказывает в своем дневнике. «Наконец настал для меня последний вечер, — записал он 12 октября 1853 года. — Я должен завтра выехать из города в Харьков. Последний вечер я провожу в кругу своих родных и знакомых... В последний раз я вижу знакомые предметы: комнаты, мебель, гитару. Вот и табачница, коробочки и прочие безделицы, вот, наконец, и любимые мои книги: «Отечественные записки» и «Современник»... все, все я вижу в последний раз, и при этой мысли сердце болезненно сжимается...»

Защемило, заныло сердце и от расставания с предметами, которые были сделаны собственными руками: «Картины обвожу грустным взором; вот одна из них, моей работы: «Смерть Ивана Сусанина». Как глубоко выражена на его лице последняя за царя молитва, тогда как полузамерзшие поляки занесли на него обнаженные сабли».

С училищной скамьи Иван знал о подвиге костромского крестьянина, который

завел отряд поляков, искавший русского царя, в дремучие леса. Когда Крамской писал эту картину, он не раз перечитывал думу «Иван Сусанин» Кондратия Рылеева. Многие строки этого замечательного произведения молодой художник знал наизусть. То, что поэт описал словами — зимний лес, рассвет, злых шляхтичей и, наконец, подвиг русского крестьянина — Крамской точно и выразительно перенес на свое полотно. Эта картина почти полностью текстуально соответствовала строкам рылеевской думы.

Конечно, уезжать из родного дома в далекий и незнакомый город было не только грустно, но и боязно. Что там впереди? В кармане у Ивана лежал рубль, заработанный им в качестве регущера. Ни мать, ни братья не дали ему ни копейки. Он сам выбрал судьбу и отправился ей навстречу, о чем и записал еще не устоявшимся, но красивым юношеским почерком в дневнике: «Начинаю жить!»

Приехав в Харьков, Крамской заключил со своим работодателем новый договор. В соответствии с этим документом Данилевский платил, как отметил Иван в дневнике, «от каждого портрета, разделанного в красках, — 3 р. сер., в туши 1 1/2 р. сер. и, сверх того, он должен заплатить профессору за уроки, которые я нахожу нужным взять в рисовании».

Фотографов в Харькове хватало. Как и положено, между ними шла конкуренция. Данилевский в ней проигрывал. И только потому, что был мастером средней руки, хотя за свою продукцию брал большие деньги. Понятно, клиентов это не устраивало. Они обращались туда, где им печатали хорошие карточки, за которые не жалко было отдать приличную сумму.

Однако Данилевский умел зарабатывать деньги на выездах. Так он делал в Острогжске. Так было в других городах. С этой целью он и «выписал» к себе Крамского, чтобы вскоре отправиться с ним по городам и весям.

Ровно через месяц в дневнике Крамского появилась такая запись: «Много уже прошло времени с тех пор, как я в Харькове, а мне никогда еще не было совершенно весело. Не знаю, отчего это происходит; мне кажется только, впрочем, от того, что я своему... хозяину совершенно угодить не могу относительно разделки портретов. Но если судить совершенно по строгой справедливости, то ему никак невозможно угодить. Станный человек мой хозяин!»

А еще через пару месяцев молодой Крамской понял, что учиться у Данилевского нечему, поскольку этот низенького роста, немного сгорбленный человек с загнутым и острым носом — обычный предприниматель, делец, и до настоящего искусства ему нет никакого дела.

В том же дневнике Крамской дает такую характеристику Данилевскому: «Своих понятий в живописи он вовсе почти не имеет, а следует по большей части суждению посторонних, в которых, так же как и в моем герою, случается не слишком много знания, да к тому же он живет в самом посредственном круге жителей города. В домашней жизни он человек очень хороший, вне же семейства он... или нет, нет, лучше я ничего не скажу».

Как видим, слова, которые хотел написать Крамской, не совсем лестные. Далее он отмечает, что Данилевский своим характером и поступками незаметно даже для него сильно портит ему настроение.

Юноша не испытывал ни малейшего удовлетворения от работы у Данилевского, считая его абсолютным профаном в живописи. «Портреты его выходят препошлыми; как выразился один остряк — «это месяц в полнолунии», то есть лицо не имеет никаких теней, а только очень резко выходят части его: глаза, нос и рот, и больше ничего. Портреты эти ни в коем случае нельзя хорошо разделать, в особенности красками, а это главное условие портретов», — писал 4 февраля 1854 года Крамской своему товарищу Григорию Турбину.

Не получил Крамской и обещанных уроков акварельной живописи. Иван попы-

тался было их взять у фотोगрафа Левдика и учителя рисования в гимназии Безперчия. Но те отнеслись к юноше настолько равнодушно, что он оставил эту затею и самостоятельно стал осваивать школу акварели. Примечательно, уже через год юноша добился желаемого результата.

Тогда же у Крамского стали появляться мысли уйти от Данилевского. Но куда? Кому он нужен? Где его ждут? Конечно, нигде его не ждали. К тому же, над ним, словно дамоклов меч, висел контракт, который он заключил на три года с Данилевским. Поэтому со всем тем, что его не устраивало, приходилось мириться.

Впрочем, все было не так плохо. Они много кочевали по России. Курск, Орел, Тула, Москва, Казань, Нижний Новгород — вот далеко не полный перечень крупных городов, где на месяц-другой бросало якорь передвижное ателье Данилевского. Позже Крамской сказал о своих мытарствах так: «Это была суровая школа...»

Но эта «суровая школа» принесла юноше немалую пользу: закалила его волю и сформировала характер, помогла ему познать жизнь, увидеть ее хорошие и плохие стороны, познакомиться с новыми людьми. И все это время Иван ни на минуту не забывал о живописи. Она постоянно присутствовала в его сердце. Он даже не столько думал, сколько весь был охвачен чувством какой-то восторженной любви к ней.

«О! как я люблю живопись! Милая живопись! Я умру, если не постигну тебя хоть столько, сколько доступно моим способностям...» — записал Крамской в дневник в конце 1853 года, а на следующий день после этой записи прибавил: «Живопись я люблю почти до безумия, а пение? А пение — как потребность человека, как средство для облегчения себя от тоски... Как пленительны все русские песни! Что же в них, в этих песнях?.. Грусть, тоска... О чем и какая?.. Я и сам не знаю... в них есть что-то такое, которое каждого русского человека сильно и безотчетно влечет... Не знаю, с чего это пришло мне сегодня в голову, только сердце мое встревожено каким-то воспоминанием прошедшего... О! Как я люблю мою Россию!.. ее песни... ее характер народности...»

В Нижнем Новгороде пути-дорожки Крамского и Данилевского все-таки разошлись. Как пишут некоторые историки, между хозяином и ретушером произошла ссора. Правда, детали разрыва их отношений до сих пор неизвестны. Одна из версий: жадный Данилевский в очередной раз недоплатил Крамскому, и тот твердо решил больше не иметь никаких дел с плутоватым хозяином.

Крамской, хотя и был стеснительным человеком, «мягкоструйным», по собственному выражению, однако не терпел несправедливости. Нечто подобное, как известно, произошло в Воронеже. Убедившись, что иконописец не собирается его учить, Иван демонстративно покинул мастерскую. А заодно и высказал иконописцу все, что он о нем думает. Таким уж характером наделил Бог нашего героя.

Прямо из Нижнего Новгорода Крамской отправился в Санкт-Петербург. В столицу добирался на перекладных. Заливисто звенели колокольчики. Лошади резво неслись вперед. В чемодане Ивана лежали самые дорогие для него вещи: кисточки, карандаши, краски, рисунки... Он твердо знал, чего хочет, и неуклонно стремился к своей мечте, которая, словно далекая звезда, все ярче разгоралась на его жизненном небосклоне.

На дворе стоял 1857 год. Россия переживала не самый лучший период своей истории. Только что отгремела Крымская война — война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства — с другой. Последствия этой кровавой бойни, на кон которой был поставлен Крым, оказались безрадостны: горькое поражение, тысячи погибших... Обесставленная и обескровленная страна оплакивала своих солдат и офицеров, геройски погибших под Севастополем и Карсом.

Одновременно в России пробуждалось общественное сознание. Молодые силы, подобно весенним ручьям, бурлили, пробивали дорогу политическим, экономическим и социальным реформам.

В столицу Крамской приехал, как он впоследствии скажет, «слепым щенком». Поселился на Васильевском острове, сняв там угол на 1-й линии в доме госпожи Соловьевой.

В свое время писатель Иван Панаев достаточно подробно описал этот столичный район: «Васильевский остров — это особый город в городе, непохожий на остальной Петербург. Он весь в зелени, в садах и в бульварах, как Москва. Аристократическая часть Васильевского острова — это его великолепная набережная, и так называемая Первая линия — его Невский проспект. На одном конце его — Биржа со своим великолепным портиком и монументальными маяками; на другом — Галерная гавань со своими полусгнившими и покрытыми мохом и плесенью домишками; на одном конце — счастливицы, кушающие устрицы в биржевых лавках и запивающие их шампанским; на другом — люди, не имеющие, может быть, и насущного хлеба — контраст, к которому все мы, впрочем, пригляделись и который беспрестанно встречается в жизни не на одном Васильевском острове. Негоцианты, моряки, кадетские офицеры, художники, ученые и самый бедный класс мелкого петербургского чиновничества составляют главное народонаселение Васильевского острова. Здесь, на его хазовом конце, вы встречаете толпы студентов, возвращающихся с лекций; биржевых диктаторов, подкатывающих к бирже на рысаках; моряков с георгиевскими ленточками на черном пальто; профессоров в синих вицмундирах или сюртуках, в очках и без очков; в несколько фантастическом наряде — в каком-нибудь плаще, перекинутом за плечо, в серой шляпе с большими полями, с волосами до плеч, с различными бородками и с портфелями в руках и под мышками — молодых художников, которые все немножко любят корчить Вандиков и Рафаэлей».

Таким увидел и наш герой этот красивый и величественный город на Неве. Неизгладимое впечатление на юношу произвели его прямые, как стрелы, улицы, шумный и пестрый Невский проспект, Эрмитаж со своими картинами; мраморный Исаакиевский собор и его купола, похожие на шлемы витязей; прекрасный архитектурный ансамбль Академии художеств с египетскими сфинксами на набережной. А еще его поразили люди... «величественною своею сухостью». Правда, впоследствии Крамской, обжившись в Петербурге, изменит свое мнение о его жителях. Но первое впечатление, как известно, самое сильное и верное.

На углу Невского проспекта (дом 22. — *Н.К.*) и Большой Садовой улицы находилось фотоателье Александровского. Его владелец Иван Федорович Александровский считался тогда одним из самых модных столичных фотографов. У него снимались чиновники министерств и ведомств, светские дамы, офицерский корпус... Иными словами, вся петербургская знать.

К нему и пришел наниматься Крамской. По сути, заявился с улицы. Без всяких рекомендаций, хотя в таких случаях они, как известно, требуются. Пришел и заявил, что он ретушер и хочет работать в ателье. Опытный фотограф Александровский весьма настороженно отнесся к незнакомцу. Но все же решил его проэкзаменовать. Дал ему несколько «мутных» портретов. И был поражен, увидев, как молодой человек, почти подросток, мастерски их «разделал». По ним Александровский сразу распознал в Крамском умелого ретушера. Да еще какого — настоящего профессионала! Поэтому сразу, без раздумий взял его к себе в помощники.

В то время фотография, словно курьерский поезд, стремительно двигалась вперед. На смену дагерротипу (снимок на металлической пластине. — *Н.К.*) пришел так называемый мокроколлодионный способ, при котором съемка делалась на специально обработанную пластину с последующим получением отпечатков на бумаге. Этот способ был весьма прост, дешев и доступен. Но были в нем и свои недостатки — негативы получались чересчур контрастными, с искаженной передачей тона. Для устранения «брака» требовался ретушер-профессионал, который при обработке отпечатков должен был по существу прорисовывать фотографический пор-

трет. Таким специалистом с точным взглядом и твердой рукой как раз и был Крамской.

Примечательно, что Крамской внес весомую лепту в известность Александровского. Как пишет Цомакион, «в этой должности Крамской работал так успешно, его ретушерская кисточка создавала такие *chefd'oeuvre's*, что скоро, благодаря ему, Александровский сделался «фотографом Его Императорского Величества».

Острогжский наставник Крамского Михаил Тулинов дал более высокую оценку его таланту: «Когда Крамской показался в Петербурге в качестве ретушера, фотография была еще в младенчестве. Чего не давала фотография, приходилось кистью дополнить, а дополнить кистью — лучше Ивана Николаевича никто не мог, даже такие в то время знаменитости по фотографической ретуши, как акварелист Алек. Соколов, Берестов, Гринер и проч... Александровский, имея уже у себя такого ретушера, как Иван Николаевич Крамской, получил дозволение снять фотографический портрет с покойного государя императора в Зимнем дворце. И.Н. Крамской отделяет тщательно этот портрет и производит им фурор. Александровский делается «фотографом его Императорского Величества Государя Императора», получает орла, и вся знать снимается у Александровского. Его фотография делается первой».

Все та же «волшебная кисточка» Крамского принесла широкую известность в Петербурге еще одному фотографу, Андрею Ивановичу Деньеру. Как «человек практический», Деньер вскоре переманил Крамского к себе в «Дагерротипное заведение» на «лучших условиях», то есть предложил хорошие деньги. Крамской не отказался. Работы у него не стало меньше, но зато заработок увеличился до трехсот рублей в месяц. Такое жалованье, конечно, не шло ни в какое сравнение с жалкими грошами, которые ему платил жуликоватый Данилевский.

В заведении Деньера также снималась вся столичная элита, в том числе царская семья во главе с государем-императором Александром II, министр двора граф Адлерберг, статс-секретарь Валуев и другие важные вельможи. Все их портреты прошли через руки ретушера Крамского. Во многом благодаря ему вывеска «Дагерротипное заведение» вскоре была смелена на новую — «Фотография Их Императорских Величеств Государя и Государыни».

Впоследствии Крамской написал замечательный портрет Андрея Ивановича Деньера. Художник изобразил его в темно-красной накидке, в черной широкополой шляпе и очень точно передал черты лица знаменитого фотографа.

Тогда же Крамской получил от своих коллег титул «бог ретуши». Безусловно, такое признание было лестно для молодого ретушера. Но в Петербург он приехал, хотя и по фотографическим делам, но с мечтой обучиться живописи.

Петербург впечатлил Крамского. Работа была по душе. Но как непросто жить в большом и шумном городе человеку без родных и друзей... Однажды, выбрав время, Крамской отыскал адрес и постучал в дверь квартиры на Владимирской улице, где проживала семья хорошо известного в литературных кругах столицы профессора Санкт-Петербургского университета Александра Васильевича Никитенко.

Профессор был земляком нашего героя. Оба родились на берегах Тихой Сосны: Никитенко в Удеревке, а Крамской, напомним, на 12 верст ниже по течению реки в Новой Сотне, пригороде Острогжска. В городе, где обосновались все близкие родственники Ивана, жили мать и брат профессора.

Оттуда и потянулась ниточка их знакомства. Профессор обрадовался земляку. Крамской стал частым гостем в доме именитого литератора. Для юноши Никитенко оказался тем авторитетом, с мнением которого нельзя было не считаться.

Профессор был прост в общении и открыт душой. Он, как и Крамской, имел мало-российские корни. Но в детстве и юности ему пришлось пройти через горькие жизненные испытания, поскольку происходил он из семьи крепостных крестьян. А у представителей этого сословия, как известно, доля была тяжелая. Однако нашлись добрые

люди, которые вытащили талановитого (укр. — *Н.К.*) хлопца из крепостных сетей. Одним из этих добрых людей был русский поэт К.Ф. Рылеев, впоследствии ставший декабристом. Они выкупили его у графа Шереметева. Получив вольную, Никитенко окончил Петербургский университет и был оставлен там преподавать на кафедре русской словесности.

Никитенко никогда не забывал о своем происхождении, часто вспоминал, как на выпускном экзамене ему, первому ученику уездного училища, воронежский архиепископ искренне сказал: «Продолжай хорошо учиться и благонаравно вести себя: будешь человеком».

Став «человеком», Никитенко, подобно тому архиепископу, во время бесед за семейным чаепитием настоятельно рекомендовал Крамскому поступать в Академию художеств. Мнение земляка имело для юноши значительный вес, и он прислушался к его совету.

Забегая вперед, скажем, что Крамской создаст два портрета Никитенко — карандашом и красками. Карандашный он делает во времена учебы в академии, а живописный — уже будучи маститым художником. Живописный портрет выполнен предельно четко, в овале, техникой, которая комбинирует соус, итальянский карандаш, белила. Для выявления «светов» художник использовал проскребывание. Но главная ценность портрета состоит в том, что художник достиг такого сходства портретируемого, какое мог достичь только редкий мастер.

Мысли поступить в академию и стать живописцем теперь не покидали нашего героя.

Как монах читает заученную молитву, так и Крамской в тот период повторял слова из своего дневника: «Живопись! Я готов это слово повторять до изнеможения, оно на меня имеет сильное влияние; это слово — моя электрическая искра, при произнесении его я весь превращаюсь в какое-то внутреннее трясение. В разговоре о ней я воспламеняюсь до последней степени. Она исключительно занимает в это время все мое внутреннее существо, все мои умственные способности, одним словом, всего меня».